

Свои непростые отношения со столицей Юрий КУБЛАНОВСКИЙ раскрывает в собственных стихах. Мы попросили оформить эти отношения в прозе. Автор предпочел промежуточный жанр этюда.

Как бы в воинственной любви признаться хочет

Этюд о Москве экспансивного провинциала

Есть две Москвы: Москва москвичей и — Москва, как ее представляют провинциалы.

Мне из моего послевоенного Рыбинска столица виделась сказочной, чудесной, невероятной. В 54-м мама привезла меня на открытие ВДНХ (тогда еще ВСХВ). Надо ли говорить, что все это, сталинское еще, «барокко», золотые и из «самоцветов» фонтаны, невиданная архитектура — произвели на пацана неизгладимое впечатление. В том сентябре пошел в первый класс, говорил товарищам, что был на ВДНХ, — смотрели завистливо, недоверчиво.

Когда подросток, в пору отрочества, чуть не каждый день бегал в книжный магазин и скупал лирические сборники, новую поэзию — идущую из Москвы. А из «Литературки», из мемуаров Эренбурга узнавал имена репрессированных писателей. (Помню, в 53-м, утром, проснувшись, увидел, что на кровати рядом в сорочке рыдает мама: «Юрка, умер Сталин!») В 61-м я Сталина уже ненавидел, но, живя в Рыбинске, осознавал, что, если бы не идущая из Москвы правда, еще неизвестно, какое бы было у меня, четырнадцатилетнего, миропонимание.

Но оттуда ж — и зло. Вот иду по центральной рыбинской улице — проспекту, разумеется, Ленина — мимо улиц Урицкого, Нахимсона, Либкнехта и Дзержинского, а из всех черных уличных радиотарелок, в обилии промывавших тогда мозги угромым, одинаково одетым прохожим, доносится речь Хрущева на встрече с интеллигенцией. Иду: на глазах слезы, руки холодные сжимаются в кулаки. Как на грех, теми же днями в «Комсомолке» покаяние В. Аксенова: признал критику партии правильной. Мать честная, раздобыл десятку (два дня прогулов: вместо учебы потаскал мешки в магазине) — и в Москву, втайне от мамы (ей вручили мою записку, когда тронулся поезд). И вот я в Москве один, впервые! Савеловский вокзал, возле которого беру в Мосгорсправке адрес Андрея Вознесенского. Навсегда запомнил: на полоске бумаги дама размашисто написала — Нижняя Красносельская, дом 45, кв. 45. Расспраши-

ваю, как доехать; звоню в дверь. Открывает сам. На нем — хэмингуэвский свитер грубой вязки с высоким воротом, я до того такие только на картинках видал; в комнате почему-то велосипед, на стене карандашный портрет работы И. Глазунова.

— Андрей Андреевич... в «Комсомолке»... Аксенов... Неужели и вы?..

— Я по пути Аксенова не пойду!

Ну, снял камень с сердца. Теперь к Эренбургу, адрес беру в Справке на Бауманской. И Эренбург меня принял.

— Нет уж, мне каяться не в чем и не по летам.

...В 64-м поступил на искусствоведческое отделение МГУ. Нешуточное везение, если учесть, что кончал рыбинскую вечернюю школу. Помогло, очевидно, то, что назад пути не было: мама уже договорилась в военкомате, чтоб, если не поступлю, взяли служить на флот и там, наконец, сделали из меня человека.

Москва студенческая — особая тема. Первая моя московская осень, когда слетел всем обрыдший Хрущев — что первоначально связывалось с надеждой на новый виток либерализации, благодаря Косыгину. После рыбинской скудости — изобилие. Такого я уже потом, вплоть и до наших дней, не видел на московской земле. Сколько ветчин, колбас, сыров, одной яичной ливерной колбасы сорта четыре. Слоньки бежали от такой диковинной снеди.

И началось вращение в столичную жизнь. За год-полтора я сделался *москвичом*, хотя и ношу в себе, чуть ли не по сей день, провинциальную экспансивность. Во второй половине 60-х студенту было доступно многое: кофе в «Национале», вкуснейшие коктейли в баре гостиницы «Москва», один-два раза в месяц ресторан «Узбекистан» с его превосходной обильной кухней. Да что там, со стипендии можно было и шикануть: сходить, например, с первой своей любимой в ресторан «Берлин». «Зеркало там на потолке», — прочитал я о нем еще в Рыбинске в поэме Вознесенского «Оза». А вот те-



Виктор БАЖЕНОВ

пына, — моя искусствоведческая «карьер» оборвалась. Что ж, дворником в Елоховский собор взялся. Колот грязный лед с замороженными в него окурками.

А уже перед эмиграцией — Антиохийское подворье, «масонская» Меньшикова башня, там сторожил. Туда приходили ко мне гэбисты. То возмут допрашивать на Лубянку, а то с «Сергеем Владимировичем» беседуем на скамейке на Чистых. Вербуют, ясно...

Я не любил, пожалуй, в Москве жить — любил в нее *возвращаться*. Жил в Муранове, на Соловках, в Кириллове, в Ферапонтове, часто, само собой, бывал на Волге — в этом смысле остался провинциалом, более всего любящим именно верхневолжье и русский северо-запад. Но подышать имперским дыханием, свободой, поблуждать с единомышленниками, почти не таясь, быть матерым антисоветчиком — где, скажете, кроме Москвы, было это возможно? Да вот с приятелями на каком-нибудь старом двореке пить из горла да закусывать сырком «Дружба» и — Бердяев, Шестов, Ахматова, Солженицын — за вечер наговорить на статью. В провинции давно б уже *взяли*, а тут все сходит с рук, кляни «софью власевну», выпускай пары — и при этом цел-невредим.

...Я уезжал в эмиграцию 3 октября 1982 года. Взять не взяли, а к выезду подтолкнули. А там — вспоминал Москву? Родину вспоминал. Друзей, близких, братство наше, компашку литературно-богемно-диссидентскую вспоминал чуть ли не ежедневно. А Москву? Советскую, изуродованную застойным архитектором-временщиком Посохиним, Москву? Редко. Москву я *жалел* всегда. Железная совковая лапа много десятилетий уродовала нашу красоту. Вспоминая ее, ненавидел советскую власть еще пуше. Но и ни разу не усомнился, что на родину вернуться обязательно.

И вот Москва декабря 89-го года. Она — другая, уже не такая... коммунистическая. А главное, я другой, выхолонный Европой, нелепый в своих светлых брюках среди ее талой грязи и хлама. Мо-

сква — почти свободная, но и — почти блокадная. Руль уже не в руках партии, генсека, а — в чьих? Договорились с подружкой отдавать мороженого в когда-то столь мною любимом «Севере». Шли мимо горящего в темноте ВТО. Там подали какую-то крупитчатую безвкусную массу вместо пломбира, бледный клюквенный морс. А в окне вместо стекла — фанера. Гибла, гибла Москва, гнила тогда на корню, и процессы казались необратимыми. Ходить — даже по центру — приходилось по шиколотку в снегу, дворники явно не справлялись со своими обязанностями. Это была Москва времен анархии, вечером дурно освещенная, с вырывающимся из-под земли паром теплоцентрали, она походила на преисподнюю.

Одна отрада — возрождающиеся церкви. Еще руина, вчерашний цех, склад, а уже идет служба. Видимо, эмиграция расслабляет — зайдя в такой вот только-только открытый храм в Царицыне, почувствовал в горле ком. Печальна, ниша была столица, но какие надежды на воскрешение родины! Глобальный нравственный распад общества был еще впереди.

Жизнь прошла. И хоть добрая ее половина прошла *вне* Москвы, а кажется, что в Москве прошла вся. Но все еще ходим в мальчиках. И несмотря на болячки уж никак не чувствуем себя патриархами. Недавно, как в молодости, расположились в скверике. Вдруг патрульная машина, выскакивают бугаи в камуфляжах. Оценивающе глянули на нашу «скатерть-самобранку», на нас. И скамандовали: «Отцы, по домам!» Отцы?..

Любой столичный мегаполис — государство в государстве, живущее, собственно, соками остальной страны, хоть и свысока на нее посматривающее. Но — ведь что-то ей и дающее?

Люблю ли я сегодняшнюю Москву? Нуворишскую, роскошную, с красивой и вульгарной жизнью, доступной, в основном, мародерам? Пожалуй что, не люблю. И все время стремлюсь из нее уехать.

Но жить могу только в ней.

перь и сам с подружкой — под этим зеркалом.

А на университетских лекциях — вдруг шла по рядам бледная машинопись, первый «самиздат» (словечка этого еще покуда не существовало): «Европейская ночь», «Воронежские тетради», гениальная «Элегия» Ал. Введенского, стихи Гумилева — все только открывалось тогда, только начинало входить в читательский оборот.

Потом как-то быстро стало все линять, деградировать и нищать. Москва 70-х совсем другая. С дрянным поддельным вином, гадкой водкой, скудостью гастро-

номического ассортимента... Все надо было «доставать», «ухватывать». Богема пила «Солнцедар», «Алжирское».

При этом общество делалось независимей. Отстоялось диссидентство как сила и величина; была у того, кто хотел и не боялся, возможность прочесть «ГУЛАГ»; всей Москве стали известны отцы Александр Мень, Дмитрий Дудко. Интеллигенция стала... почвенней.

В 1975 году, после того как я пустил по рукам «открытое письмо» (излюбленный тогда самиздатовский жанр) «Ко всем нам» — к двухлетию высылки Солжени-